

Алексей ГОРШЕНИН

г. Новосибирск

И

Г

повесть

У

Р

Д

О

Ш



Анку-зенитчицу хоронили в разгар бабьего лета. Прозвище это прилепилось к Анне Николаевне Шумиловой, ветерану Великой Отечественной войны, с тех самых пор, когда вернулась она с фронта, где зенитчицей прослужила без малого два года, с сентября 1943-го и до самой Победы, закончив свой боевой путь под Будапештом.

Анна Николаевна ушла в мир иной последней из ветеранов Сосновского района, своей смертью как бы безвозвратно переворачивая его военную страницу. Хоронили её на кладбище райцентра с почестями, прочувствованными речами, в присутствии районного и даже областного начальства, учителей и старшеклассников местной школы, офицеров дислоцированной неподалеку воинской части. Несколько солдат этой же части, подняв вверх автоматы, салютовали преданной земле Шумиловой тремя залпами.

А неделей раньше похоронили ветерана трудового фронта Маню-большую. На эту неделю как раз Мария Пахомовна Трошина по прозвищу Маня-большая была моложе Анки-зенитчицы. И «большой» окрестили её, понятное дело, вовсе не по возрастному признаку. Просто рослой, крупной всегда она была с юных лет.

Маню-большую похоронили на заросшем березняком погосте посёлка Залесово, где проживала она у младшего сына свою жизнь. Похороны прошли тихо, незаметно. Народ в посёлке был сборный, съехавшийся сюда в разное время по разным причинам из разных весей. Кто-то обосновался здесь ещё во времена ликвидации «неперспективных» деревень, кто-то появился уже в девяностые, когда деревни российские затрещали от нового перестроечного уже вала. Залесово повезло. Оно устояло оба раза, каждый раз впитывая в себя всё новых поселенцев. Живя обособленно своей переселенческой волной, они обычно мало знали и интересовались теми, кто появился в селе не с ними вместе. Поэтому и смерть совершенно ничем не примечательной, преклонных лет женщины восприняли равнодушно — как дело сугубо семейное её родственников.

О фронтовичке Шумиловой известно было,

конечно, много больше, но тоже не всё. И уж совсем мало кто мог догадываться о существовании некой связи, соединяющей судьбы этих двух, умерших почти одновременно, но в разных населённых пунктах, женщин. А она, хоть и совершенно незримая многие годы, была...

\* \* \*

Захар Егорович Плетнёв вернулся из райцентра поздно вечером мрачнее тучи. А ведь ехал туда в приподнятом настроении. Дела в колхозе складывались неплохо. Уборка шла полным ходом. Благо и погода не препятствовала. Если не испортится, уложиться можно в срок, а то и раньше. По «повинностям» тоже в целом нормально. И по отработкам, и по сдаче сельхозпродукции. И по налогам — военному да сельхозналогу — задолженностей, можно сказать, нет. Немного похуже с самообложением — не шибко-то колхозники жаждут покупать эти пустые бумажки — облигации. Тем более что и без того разных поборов выше крыши. Но ничего, успокоил сам себя Захар Егорович, подтянемся. Война как-никак, понимать надо...

В райкоме его оптимизм разделили, призвали и дальше так держать, пообещали даже на районную доску почёта повесить. А пока попросили зайти в райвоенкомат — есть там для него новость.

Военкомат находился неподалёку, и через несколько минут Захар Егорович уже открывал кабинет военкома. И здесь председателя колхоза «Приобский коммунар» ждал жестокий сюрприз.

С военкомом, грузным седым подполковником, за время войны Захар Егорович встречался не раз. В основном по одному и тому же — мобилизационному — вопросу. Война, особенно на первых порах, требовала всё новых солдат.

Несколько призывных волн прокатилось по Приобскому. И к середине войны немаленькое когда-то село заметно поредело, опустело. Мужиков и вовсе едва четверть на всё село осталось. Уже и сорокалетних прибрали. Везде теперь бабы ломили: и за себя, и за мужиков своих — у кого героически бьющих на фронте

постылого врага, а у кого уже и навсегда отвоевавшихся, саваном смерти накрытых.

Захар Егорович тоже успел побывать в той мясорубке. Вообще-то, по возрасту для призыва он тогда, в ноябре 1941-го, не подходил. Гораздо моложе ребят, чем он, тридцатишестилетний, брали. Но так уж получилось. Сам добровольцем напросился. Казалось ему, колхозному агроному, что без него война никак не может обойтись. В декабре сорок первого он в составе лыжного батальона сформированной в их сибирских краях дивизии оказался в Подмоскowie, неподалёку от станции Дорохово. И в первые же дни жестоких боев понял, что война спокойно кладёт на свой кровавый жертвенный алтарь тысячи таких, как он, и что некоторым из них и времени-то было отпущено всего на одну атаку, в которой они даже «ура» закричать подчас не успевали.

Плетнёву повезло. Он продержался на передовой чуть больше недели и остался жив. Только попал на девятый день фронтовой жизни под миномётный обстрел, получил осколочное ранение в ногу и контузию. Потом три с лишним месяца госпиталей, и всё — отвоевался солдат, комиссован подчистую. Хромай теперь на правую ногу всю оставшуюся жизнь и слушай то усиливающийся, то стихающий, но никогда не затихающий звон в ушах. Даже завалившей медальки на грудь Плетнёв за свое короткое пребывание на передовой не схлопотал. Но он и не расстраивался. Жив остался — вот и награда, самая для него большая!

В родное Приобское возвращался Захар Егорович в начале апреля 1942 года. Навигация ещё не началась, поэтому добираться от областного центра до своего села пришлось не кратчайшим водным путём, а на перекладных. Сначала на пригородной «передаче», потом до райцентра на грузотакси, а от него и вовсе на попутках по весенней распутице.

Дни стояли погожие. Солнце жадно съедало снег на полях, то тут, то там образуя чёрные дымящиеся проплешины оттаявшей земли. Машина петляла среди колков. Под колёсами грузовика хлюпала полая вода и чавкала жидкая грязь. Плетнёв полной грудью радостно вбирал в себя разнообразные запахи весеннего

таяния и думал, что скоро, совсем скоро снег сойдёт, солнышко подсушит и прогреет землю и надо будет приниматься за пахоту, а потом и сев. И от этого предвкушения сладко щемило в груди.

Приобское встретило Плетнёва траурной вестью. Село только что похоронило своего бессменного колхозного председателя Петра Ивановича Ситного. Он как возглавил десять лет назад только что образовавшийся колхоз «Приобский коммунар», так руководил им всё это время. Наверное, продолжал бы и дальше, но подкосила мужика чёрная беда. Пришли в дом Ситного похоронки на двух его сыновей — Сергея да Дмитрия. Оба, погодки, были его надеждой и гордостью. Учились в институте, приехали в родительский дом на каникулы. Отсюда и в армию их призвали. А вскоре похоронки. Одна за другой... И сердце Петра Ивановича, сумевшее пережить многие тяжёлые испытания, выпавшие на его деревню от войны Гражданской и до войны Отечественной, на сей раз не выдержало — разорвал его в клочья обширный инфаркт от свалившегося в одночасье горя.

Без Ситного село тоже осиротело. Он и Приобское были неразделимы. А на носу пахота, сев и разная прочая сельская страда. Как тут без твёрдой хозяйской руки! Поэтому районное начальство приезд Плетнёва искренне обрадовал. Уроженец здешних мест, комиссованный подчистую фронтовик, не один год проработавший под началом Ситного, член партии, он был самой подходящей кандидатурой на председательское место. С его появлением кадровый вопрос решался как бы сам собой.

Времени для раскочки не оставалось. Быстренько провели собрание колхозников. Захара Плетнёва знали хорошо — свой как-никак, приобский. С Ситным и под Ситным работал хорошо, пусть теперь в свои руки колхозные вожжи берёт.

Так и стал Захар Плетнёв председателем колхоза «Приобский коммунар» — Захаром Егоровичем. И как из огня да в полымя попал, брошенный в новые, теперь уже трудовые бои. И нет им счёта, а ему передышки вот уже полтора года...

...Завидев входящего Плетнёва, военком приподнялся из-за обшарпанного канцелярского стола, протянул руку для рукопожатия. Потом коротко вздохнул и через небольшую паузу подвинул Захару Егоровичу какую-то казённую бумагу:

— Вот, разнарядка из области пришла. Из твоего колхоза надо человека. Как минимум...

— Как минимум... — эхом отозвался Плетнёв. — Да где ж я его возьму, этот минимум? — вскинулся он. — У меня и мужиков-то осталось — раз-два и обчёлся, да и те калечные да увечные, к службе непригодные. Почитай, из всех уже сусеков война мужиков выгребла.

Военком поморщился, как от зубной боли:

— Знаю. Не хуже тебя. И не ты один такой. Только речь сейчас не о мужиках. О мужиках я бы с вами, председателями, и не разговаривал сейчас. Прислал бы повестку на Иванова, Петрова или Сидорова, и — шабаш! В том-то и закавыка, что не мужики... Девки нужны... Призывного возраста.

Плетнёв охнул и мотнул головой:

— Уже и до баб, девок даже добрались. Кто ж тогда у нас тут останется? С кем работать будем, пока девки наши в пехоте?..

— Да хватит причитать, и без тебя тошно! И какая там пехота? Зенитчицами девки будут служить. Подразделение зенитчиц у нас в области формируется. Вот и собираем с бору по сосенке — с каждой деревни по одной ли, две. Да с пяток в райцентре найдём. Так, глядишь, на взвод и наскребём, как требуют. Понял?

— А, хрен редьки не слаще — зенитчицы, пехотинцы! — махнул рукой Захар Егорович.

— Не скажи, — не согласился военком. — С винтовкой по полю под огнём бегать хуже, по-ди, будет. Сам знаешь. При зенитке-то куда больше шансов целым остаться. Так что... В общем, давай, Захар Егорович! Срок тебе — до послезавтра.

\* \* \*

**Ж**ена собрала Захару Егоровичу поесть, а ему, несмотря на то что целый день крошки во рту не было, кусок не лез в горло. Озадачил его военком так озадачил.

Захар Егорович вяло похлебал щей, отложил

ложку и, подперев голову кулаком, стал перебирать потенциальных кандидатов для очередной, но такой непохожей на прошлые, мобилизации. Сейчас он чувствовал себя в положении тех персонажей из сказки, которые вынуждены, чтобы задобрить кровожадного дракона, отдавать ему на закление каждую неделю нескольких девушек.

— Уже и до девок добрались... Что дальше-то будет?.. За детей примемся?.. — глухо бормотал Плетнёв, даже не замечая, что говорит вслух.

— Что ты там бубнишь, Захар? — остановилась рядом жена. — Пришёл какой-то смурной, бубнишь...

— А!.. — отмахнулся Захар Егорович и выложил ей всё как есть. От жены у него секретов не было.

— Господи, да что же это делается! — вскрикнула жена. — Мало того, что девки и так уже с четырнадцати-пятнадцати годов вместе со взрослыми бабами как лошади ломят, так ещё и...

— Не причитай! — совсем как военком его недавно, осадил Плетнёв супругу. — Приказы не обсуждаются.

— Ну, и кому такое счастье привалит? — спросила жена.

— Буду думать.

Думал Захар Егорович всю ночь. Не спал, ворочался, вздыхал. Вставал с постели, дымил возле дверного косяка самокруткой, пил из бачка воду, снова ложился.

Призывного возраста девок в наличии на данный момент в деревне было только две: Аня Шумилова и Маша Жукова по прозвищу Маня-большая. Обeim по девятнадцать, и разница в возрасте между ними всего неделя.

Жили они по соседству и были подружками с детства не разлей вода. Смотрелись, правда, вместе диковато. Маня была на голову выше подруги, здоровее. К совершеннолетию её тело налилось уже не женской силой, и даже мужики Маню побаивались. Аня на её фоне смотрелась хрупкой тростиночкой, но характером отличалась крепким и потому верховодила в их дружеской связке, иной раз просто помыкая послушной, терпеливой и незлобивой Маней. Они и лицом различались как небо и земля. Пышноволосая, кареглазая, с тон-

кими аккуратными чертами миловидная брюнетка Аня и простоволосая, с крупной лепки лицом, носом-картошкой и губами-варениками Маня.

Когда настала пора девичества, симпатичная бойкая Шумилова и тут была на первых ролях — парни роились вокруг неё, а «коломенская верста» Маня лишь одиноко и уныло подпирала какую-нибудь берёзу по краю танцевального пятачка-«тырла»<sup>1</sup> на деревенских вечёрках, любуясь, как отплясывает под гармошку её подружка с очередным парнишкой, потаённо вздыхая, что ей это, наверное, и не светит.

Но потом началась война. Как-то быстро и незаметно вымела она с деревенских улиц почти всех молодых парней. Заглохли вечёрки с заливистой гармошкой, стало подёргиваться бурьяном утоптанное нескончаемой дробью молодых пяток «тырло». Девкам и молодым бабам танцевать друг с другом быстро надоело. Да и времени уже не доставало. Нескончаемая работа выкручивала тела, как старательная прачка белье, не оставляя ничего, кроме усталости.

И чем больше забирала война мужиков, тем больше наваливалось этой работы на женскую половину, которая к середине войны с полным на то основанием могла сказать о себе словами известной поговорки: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик».

Правда, относилось это скорее к Мане-большой, которая и скотника на ферме заменяла, и на лесосеке, если требовалось, вкалывала, и разную другую мужицкую работу делала.

Хрупкая Аня трудилась в основном в конторе, помогала председателю, будучи и за счетовода, и за учётчика, и за секретаря. Девка она была смышлёная, в руках у неё всё горело. Она освобождала Плетнёва от бумажной волокиты и писанины, и уже за одно это он её ценил.

...В общем, думал Захар Егорович, крепко думал. От дум этих разламывалась голова и звон в ушах становился пронзительно нестерпимым.

Конечно, солдат из Мани вышел бы, пожа-

<sup>1</sup> Тырло — место, где собирается скот для отдыха и ночёвки.

луй, лучше не придумашь. И здоровье, и силушка при ней — сама может за собой зенитку вместо лошади или полуторки волочь. И командирские приказы будет беспрекословно выполнять. Нюрка — та норовистей, уросливей, да и здоровьишко, конечно, спроть Маньки не то.

Имелось, однако, серьёзное «но». Маня была четвёртой по счёту, самой младшей и единственной девкой в семье Пахома Жукова. Самого его и всех троих, ещё не успевших обзавестись семьями сыновей война уже забрала на свое ристалище. И сделала жертвами, давая о том знать стремительно пустеющее семейное гнездо Жуковых ядовитыми стрелами похоронок. Совсем скоро Маня осталась одна с разбитой от горя матерью на руках. Отправить на фронт Маню? Но что станется, если слепой рок приберёт там и её? А то и станется, что закончится на ней, не успевшей ни полюбить, ни произвести потомство, род Жуковых — славных работающих людей, крестьян высшей пробы, без которых и жизнь-то в деревне трудно себе представить.

У Шумиловых тоже четверо детей, но все девки, и Аня старшая. Если и погибнет, не дай бог, всё равно останется, кому род продолжить...

Только вот как он, Захар Плетнёв, потом будет родне в глаза смотреть, ежели вдруг Нюрку убьют или покалечат? Не чужая, чать, — племянница, родной сестры дочь. В том и дело...

Потому и пухла у Захара Егоровича голова, чувствовал он себя между молотом и наковальней.

Чуть свет Плетнёв уже был на ногах. Без аппетита похлебал вчерашних щей с полусохшим ржаным ломтем. Стал натягивать сапоги, собираясь уходить.

— Чо надумал-то? — спросила жена, убирая посуду.

— Всяко крутил...

— Ну!..

— Вот и выходит по всему, что Нюрке жребий выпадает.

Жена охнула, опустилась на табуретку, покачала головой:

— Ой, Захарушка, не сносить тебе тогда головы. Сеструха-то твоя, Катька, ни в жизнь этого не простит, смертным врагом станешь.

— А по-другому мне люди и совесть не простят.

Плетнёв, пригнув под притолокой голову, вышел. Через несколько шагов остановился в нерешительности. Идти в правление, а уж потом, когда все отправятся по своим рабочим местам, Катьку притормозить и поговорить, или пойти к ним прямо сейчас? Не любил он ничего откладывать на потом, но тут...

Ноги сами понесли его к правлению.

Колхозная контора уже сколько лет — с тех пор, как раскулачили Семёна Выжинига — размещалась в его просторном крестовом доме с большим навесом на резных балясинах над крыльцом, с перил которого до войны по утрам гроздьями свисали мужики, нещадно дымя самокрутками, перед тем как разойтись по рабочим местам. Здесь обсуждали международную обстановку, дела в стране, ну и, конечно, в родной деревне. Нет уже на свете многих из тех мужиков — повыбила война. А бабы только коротко, со всхлипом вздыхают, спускаясь с крыльца, вспоминая то каждодневное мужицкое «вече».

Плетнёв толкнул входную дверь, переступил порог. Услышал, как гремит ведром Варвара, вечно хмурая бесцветная и без возраста баба. Она приходила раньше всех мыть полы. Увидев председателя, Варвара разогнулась, чтобы поздороваться, и снова взялась за тряпку.

Захар Егорович прошёл в просторную комнату. Когда-то в хозяйском доме она была залой. Ныне сюда собирались по утрам на наряд. Здесь же при надобности Плетнёв и правление собирал. В правом углу у окна стоял хоть и облезлый, но всё ещё крепкий канцелярский стол, которым обзавёлся в своё время по какой-то оказии в райцентре Ситный. Здесь и был председательский уголок Плетнёва. Сзади ему в затылок строго смотрел с портрета над головой товарищ Сталин. От его тяжёлого сверлящего взгляда Плетнёву всегда становилось не по себе, и он по возможности старался не задерживаться на своём, как иногда ему мнилось, лобном месте. Благо зоркий председательский глаз требовался во всех уголках колхозного хозяйства.

К письменному столу были придвинуты две табуретки для посетителей, в первую очередь

— для заезжего начальства. Располагались они точно напротив портрета, и товарищ Сталин с сидящих на табуретках тоже не спускал суровых глаз. К стенам комнаты жались длинные некрашенные скамьи, отполированные седалищами колхозников. На столе, кроме облупленной деревянной карандашницы с несколькими графитными огрызками, пусто, как на предзимнем поле, с которого свезли на ферму последнюю солому. Пусто, если не считать лавок, и в комнате. Обстановка под стать самому вождю — сурово-аскетическая.

Плетнёв тяжело вздохнул: и как же ему объяснить родной сестре, что он вот родную племянницу?..

Начал подтягиваться «командный состав». Лица и голоса в основном бабьи, только успевшие по-мужички огрубеть. Разговоры, правда, всё же не мужичкие. Баба, как ни крути, в любом случае баба.

Плетнёв распределил дневные задания. Колхозники потянулись к выходу.

— Катерина, подожди! — придержал Захар Егорович уже собиравшуюся переступить порог сестру.

Она удивлённо оглянулась, пошла обратно. Полным именем брат называл её очень редко.

— Чего, Захар?

И не знал Захар Егорович, как объяснить сестре ситуацию.

— В общем, тут такое дело, Катерина... Анну твою в армию призывают... — бухнул он, словно раскалённый булыжник в кадку с водой бросил.

Сестра непонимающе уставилась на него, переваривая услышанное.

— Ты чо несёшь-то? Какая армия? Она ж девка!

— Вот и до девок добрались, — сокрушённо вздохнул Плетнёв.

— Ничо не понимаю — буровит чо попало...

Плетнёв отчаянно махнул рукой и только что не перекрестился, словно решаясь нырять в ледяную прорубь.

— Дело такое... — повторил он и рассказал про разнарядку военкомата.

— Ну, так чо, — поняв наконец, о чём речь, сказала сестра. — А при чём здесь Нюрка? Ей отдельную повестку прислали?

— Нет, не отдельную. Но у нас всего две девки призывного возраста: Аня вот твоя и Маня Жукова.

— Вот Маньку и посылай. Она вон лошадь какая! Сам бог велел...

— Не гневи бога, Катерина! — посуровел Плетнёв. — Жуковы и так уже всё, что могли, войне отдали — четверо домой не вернулись. Манька у них последняя из детей осталась.

— О Жуковых печёшься, а о своей родне подумал? Родную племянницу на смерть посылаешь! — всхлипнула сестра.

— На службу, Катерина, на службу, — поморщился Захар Егорович. — А служба разная бывает. И призывают девок не в пехоту, а в зенитчицы.

— Да какая разница! — махнула в сердцах рукой Катерина. — Везде убить могут.

— Могут, — согласился Плетнёв. — Только в пехоте шансов гораздо больше быть убитым.

— Вот и посылай свою Маньку!

— Ну, я ж тебе объяснял... — прислушиваясь к нарастающему шуму и звону в ушах, сказал Плетнёв. — Несправедливо будет.

— А меня, сестру твою, обездоливать спра-ведливо? — крикнула Катерина. — С тремя детьми на руках оставлять — справедливо?

— Мать поможет, она ещё бодренькая, мы с Леной поможем.

— У Маньки тоже мать есть.

— Да больная она совсем! После смерти Пахома и сынов её вон всю разбило. Сейчас хоть Манька за ней ходит, а её не станет?..

— Уж то не моя печаль, — недобро усмехнулась Катерина и вдруг, почти до визга взвинтив свой голос, заверещала: — А я свою кровиночку на бойню не отдам!!! Не для того растила!..

Сестра кричала что-то ещё, уже не выбирая выражений, но Плетнёв слов её не различал — шум и звон в ушах становились нестерпимыми. Он мотал головой, отгоняя их и вопли сестры.

В дверях возникла перепуганная Аня, схватила мать за плечи, пытаясь унять её и успокоить. Но Катерина билась в истерике, и дочери вместе с Варварой стоило больших трудов увести её из правления.

Шила в мешке не утаишь. Вестей в деревне — тем более. По Приобскому стаей воронья раз-

летелись слухи. Слухи были разные, но в основном сходились во мнении, что между братом и сестрой пробежала чёрная кошка раздора. То ли Катька Шумилова отказалась выполнять какое-то председательское распоряжение, то ли покусилась на колхозное добро, а он её застукал... По утверждению других, Анька сама во всём виновата — дерзила дяде-председателю, ей ведь тоже, как и мамке, палец в рот не клади! В общем, по той ли, другой или ещё какой причине озлился на них Плетнёв и в отместку уприсил районного военкома — «подмазав», конечно, — выписать повестку на Аньку...

Про Маню-большую никто и не заикался, потому что об истинной сути конфликта попросту не догадывались. Прежде всего, и сама Маня, которая, заменяя на ферме сразу двух ушедших на фронт скотников, занималась привычным делом: раскидывала вилами перед коровьими мордами сено, убирала навоз.

Плетнёв ходил, припадая на правую раненую ногу, привычными маршрутами по каждодневным своим председательским делам, появляясь то на ферме, то на току, и словно тяжёлый камень на себе волок. Жалко было Аню. Родная душа. Хоть и не шибко он ладил с сестрой, но племянницу любил и, как мог, оберегал. Потому и в конторе держал. А теперь, выходит, снял с неё свой оберег?

Может, правда, — Маньку? Ну, в конце концов, какое ему дело до Жуковых. Своя рубашка, известно, ближе к телу. «Только как бы потом рубашечка эта на всю оставшуюся жизнь в колючую власяницу не превратилась», — подумал Захар Егорович и увидел их всех — Жуковых, живых ещё, войной не прибранных.

Хорошее было семейство: дружное, работающее, отзывчивое, душой к людям распахнутое.

Взять Пахома Митрофановича, главу семейства — колхозного кузнеца и мастера на все руки. Что угодно мог выковать и изладить — от простого кухонного ножа до узорчатого трёхрожкового подсвечника, какой преподнес он однажды на юбилей Ситному. Видный был мужик, рослый, силищи невероятной. Не красавец. Но незатейливой простоты грубоватое его лицо с крупными чертами и синими глазами (Маня сильно на него похожа) всегда лучилось таким заразительным природным муж-

ким обаянием, что бабы заглядывались на Пахома Митрофановича, даже когда шагнул он далеко за грань своей молодости.

Жениться Пахом мог бы, наверное, на любой окрестной красавице, но выбрал жившую неподалеку от их кузни Авдотью Кулакову — невысокую, простоволосую, ничем внешне не примечательную девушку, которая, по мнению многих односельчан, была ему не пара. Но парой они оказались как раз замечательной. Словно на их примере бог вознамерился показать другим, какой должна быть настоящая семья.

Никто не знает — не слышал, говорили ли они когда-нибудь друг другу нежные ласковые слова (от громадного, как сарай, Пахома их и слышать-то было бы как-то странно), но и ругани, даже обычной семейной перебранки отсюда не доносилось. Ну, а лучшим свидетельством тому, что существовала меж ними любовь, пусть для постороннего глаза и малозаметная, однако нерасторжимо связующая их, были дети Пахома и Авдотьи: три сына-погодка и дочь, в которых родители души не чаяли, хотя и держали строго, лишних вольностей не позволяя.

Плетнёв рано остался без отца. Ему едва пять исполнилось, а Катюхе — семь, когда тот, переходя Обь по апрельскому льду, провалился в полынью и навсегда исчез в мутной внешней воде. Мать замуж больше не вышла, и Захар дальше рос уже без мужского в доме присутствия, чего ему явно недоставало. Может быть, поэтому, став больше, Захар зачастил в кузницу Пахома. Тихонько стоял у стеночки, слушал перезвон молотков, которыми кузнец играючи плюшил на наковальне раскалённые докрасна железяки, и ему было хорошо здесь, рядом с этим дядькой. Не отрываясь от работы, Пахом изредка взглядывал на парнишку, весело подмигивал ему, и Захара, словно из горна кузнечного, обдавало сладким жаром.

Когда Захар подрос настолько, что уже мог держать в руках небольшой молот, Пахом давал ему попробовать себя в роли молотобойца. Захара после такого доверия распирало от гордости.

Поляна возле кузницы была любимым местом игр братьев Жуковых. Летом они пропадали здесь чуть ли не целыми днями. Захар был

заметно старше их, но с удовольствием возился с ними. А они ходили за ним буквально по пятам, как цыплята.

Потом Плетнёв на время расстался с селом. Призвали на военную службу. После демобилизации пошёл в сельскохозяйственный техникум, на агронома учиться. Когда вернулся в село, братьев Жуковых едва узнал: подросли, вытянулись, старший семилетку оканчивал, отцу в кузнице помогал.

Уже став председателем, Захар Егорович Жуковых и на фронт провожал. Сначала братьев, потом и самого Пахома Митрофановича. В том же порядке со временем и похоронки на них стали приходить...

На Авдотью сейчас больно глянуть. И раньше-то не ахти какого телосложения, теперь и вовсе высохла, закаменела, а глаза до краёв наполнились смертной тоской. Как она вообще смогла всё это пережить, поражался Плетнёв. Авдотья практически не ходила — либо сидела на старом диване с высокой спинкой, увенчанной продолговатым зеркалом, либо на нём же лежала. За пределами дома её уже давно никто не видел. Мане приходилось и кормить мать, как малое дитя, с ложечки, и убирать за ней.

И если, не дай бог, война приберёт ещё и Маню...

Захар Егорыч помотал головой, словно отгоняя страшное видение. Нет, не мог он Маню отправить, не мог! Не мог собственной рукой подвести черту под родом Жуковых.

И снова вспомнился ему Пахом Митрофанович. В минуты отдыха устраивался он поудобнее на толстеньком бревне, приваленном к стене кузницы, сворачивал из пожелтевшего газетного клочка сигарку с мелко нарубленным самосадом, блаженно затягивался и, выпуская сизый табачный дым, расслабленно наблюдал возню сыновей тут же, на лужайке. Потом рассеянный взгляд его устремлялся дальше, туда, где в низинке, чуть в стороне от согры, поблескивало небольшое озерцо, куда Захар с братьями Жуковыми ходили удить карасей. Что видел там кузнец, чему так светло улыбался? Этого юный Захар знать не мог. Да и не задумывался тогда. Просто и ему тоже становилось хорошо и светло. Он подсаживал-

ся к Пахому Митрофановичу. Тот приобнимал его, и они ещё минут десять сидели так — то молча, то заводя какой-нибудь разговор.

О чём говорили, Плетнёв сейчас уже не помнил. Вспомнилось только, спросил однажды:

— Дядя Пахом, а что в жизни самое главное?

Он недавно стал комсомольцем, идейно подковывался, и вопросы, касающиеся смысла бытия и целей человеческой жизни, серьёзно волновали его юную душу. Захар, конечно, знал уже, что для комсомольца главное — быть верным помощником старшего собрата-коммуниста во всех его замечательных делах во благо трудового народа. Но вот сидит рядом с ним сам «трудовой народ» в лице сельского пролетария кузнеца Пахома и что по этому поводу думает он?

— Самое главное? — удивлённо посмотрел на Захара кузнец и задумался. Между пальцев его потрескивала тлеющая сигарка. — Народ — он разный... — отозвался наконец Пахом Митрофанович. — И, наверное, у каждого своё «главное». По мне же, Захарушка, главное — справедливость. Вот возьмём двух мужиков. Общее дело им поручено. Один хорошо работает, старательно, а другой спустя рукава, лодырничаёт. Пришла пора им за труды их воздавать. Кому сколько? Лодырь орёт: мы вместе кажились, потому поровну надо!

— Ну уж! — возмутился Захар.

— Вот и я о том же, — согласился кузнец. — Ежели по справедливости, то и возьми сколько всамделе заработал. Как потопал, так и полопал. И так, Захарушка, во всём. По заслугам и деяниям должно воздаваться. Тогда, я думаю, не только лодырей и захребетников не будет, но и без вины виноватых. Справедливый человек не только не станет гнобить другого, выезжать на нём, но и сам тому в случае чего воспротивится. Вон и революцию за ради справедливости делали — чтобы один не угнетал, не унижал другого. А ещё справедливый человек будет поступать только по совести, а не по корысти и не по прихоти — своей ли, чьей ли.

Знать, крепко засел в Плетнёве тот давний разговор, если спустя столько времени вспомнился. И не просто ведь вспомнился. Слова кузнеца прочно сидели в нём все эти годы, как

бы незримым внутренним ориентиром для него были. По справедливости и жить старался.

...Пахом Жуков и ещё двое таких же немолодых мужиков отправлялись в райцентр на сборный пункт снежным зимним утром ещё затемно. Распрошавшись с родными, мужики повалились на сено в розвальни, и снег протщально закрипел под деревянными полозьями. Плетнёв сам повёз их в Сосновку. В райцентре, прощаясь, Пахом Митрофанович сказал с грустной улыбкой:

— Вот и наш черёд, Захарушка, пришёл за справедливость биться. Но мы её отстоим — право слово, отстоим!..

«Ну и какую же справедливость сейчас отстаиваешь ты?» — услышал внутри себя Захар Егорович вопрошающий голос.

— Какую... — хмуро пробормотал Плетнёв. — Нешто их много и все разные — на любой цвет и вкус? Ладно! — решительно тряхнул он головой и, словно завершая разговор с внутренним голосом, сказал: — На том и порешим...

Захваченный своими раздумьями Захар Егорович и не заметил, как снова оказался возле правления. Он поднялся на пустое в разгар рабочего дня крыльцо, и вдруг ему подумалось, а почему этот заковыристый вопрос он должен решать единолично. Почему бы и с правлением не посоветоваться. Девки-то ведь свои, колхозные, полноправные члены коллектива. Пусть коллектив тоже голову поломают. А когда коллективное решение примут, тогда и в предвзятости его ни к одной стороне, ни к другой никто не обвинит.

Плетнёв быстро прошёл в избу, вырвал из амбарной книги сдвоенный лист и, несколько минут слюнявя химический карандаш, старательно, как школьник на уроке чистописания, выводил слова объявления. Руки от волнения тряслись. Буквы получались неровными, строки кривыми. Можно было бы поручить написать объявление Аньке — вон она за стенкой сидит. У неё бы хорошо и красиво получилось. Но ей-то как раз и никак нельзя. «Сегодня в 8 вечера состоится заседание правления колхоза «Приморский коммунар», — выводил председатель химическим карандашом. — Повестька...» В этом месте Плетнёв долго не мог сообразить, как эту самую повестку полвечее

обозначить. Ничего не придумав, приписал: «Внеочередной срочный вопрос».

Осилив, наконец, непривычное дело, взял кнопки, прикрепил объявление на входной двери и удовлетворённо сам себе сказал:

— Как люди решат, так и будет.

Остаток рабочего дня Плетнёв старался обходить колхозную контору стороной, чтобы избегать лишних досужих расспросов. А когда вернулся к назначенному времени к конторской избе, чуть не выронил трость от удивления — она была забита людьми. Вместо нескольких членов правления собралось здесь чуть ли не полдеревни. Словно собирал он не правление, а общее колхозное собрание. И на крыльце и вокруг было не протолкнуться. Толпа гудела, как растревоженный улей. Увидев Плетнёва, народ притих, стал расступаться, освобождая дорогу председателю.

«А может, так оно даже и лучше? — подумал Захар Егорович, пробираясь к своему председательскому уголку. — Как ни крути, а общее собрание — высший орган колхозной власти, за ним всегда окончательное слово».

Когда Плетнёв занял за столом своё место, народ притих. Сбоку, по правую руку от него, пристроилась Аня Шумилова, аккуратно разложив перед собой чернильницу, ручку со стальным пёрышком, раскрытую на чистой странице общую тетрадку, куда записывала протоколы всех собраний правления. Плетнёв покосился на племянницу — всегда у неё с бумагами полный порядок, и подумал, как он без неё будет. И ещё вдруг пришло в голову: а чего же она тут сидит-то? Речь ведь про неё пойдёт. Как же он об этом раньше не подумал. Но сейчас предпринимать что-то было уже поздно. Да и кто лучше неё все это запишет?..

Плетнёв встал, откашлялся.

— На повестке у нас сегодня вопрос мобилизационный, — сказал он. Вздыхнул и продолжил: — А ситуация, значит, следующая...

Пока председатель говорил, тишина стояла такая, что было слышно, как скрипит, скользя по бумаге, у Аниной ручки стальное пёрышко.

— ...Так вот, товарищи, встает теперь перед нами задача, кого же выбрать из этих двух девчат-ровесниц для отправки... — Захар Егоро-

вич поперхнулся, не решаясь продолжить словами «отправки на фронт», секунды две-три прочищал горло, наконец закончил фразу в другом уже варианте: — для прохождения военной службы в рядах Красной армии.

— Дак, наверное, Маня-большая лучше для армии-то сгодится. Она поздоровше Аньки будет, — услышал Плетнёв голос одного из членов правления.

— Она и здесь нам прекрасно сгодится, — не согласился другой. — Двух мужиков заменяет!

— Так ить и Анька у нас тут тоже при деле, — заметил притулившийся на лавке в дальнем углу Тимофей Бастрыкин, старый колхозный конюх. — Без неё председатель наш в бумажках утопнет.

— Я тоже сначала про Марию Жукову подумал, — признался Плетнёв. — Но дело, товарищи вот ещё в чём...

Аня записывала, низко склонившись к тетрадке. Головы почти не поднимала. Но было заметно, что она волнуется. И чем дальше, тем сильнее.

— Война проклятая много наших колхозных мужиков выкосила. Вечная им память. Но семье Пахома Жукова, думаю, поболее других досталось. И сам Пахом Митрофанович, и три сына его головы свои сложили... Авдотью Жукову от такой горести парализовало. Так вот, если мы ещё и Маню в армию отправим, то баба совсем одна останется — неходячая. А уж не дай бог с девкой случится что — не вынесет Авдотья, нет, не вынесет! И ещё... — Плетнёв снова прочистил горло, но голос всё равно оставался глухим и сиплым. — Маня у Жуковых — последыш, а теперь вот, получается, и последний живой в этой семье ребёнок. Ни перед ней, ни за ней — уже никого. И когда вдруг убьют и её, родовая ветвь Пахома Жукова отомрёт тоже. Потому что некому будет её продолжать.

— Ну да, а у Шумиловых одни девки, и Анька старшая, — подхватила мысль Плетнёва какая-то из баб, толпившихся в дверях.

— Да, вот такой расклад, товарищи колхозники. И я прошу вас сообща подумать, как нам в этой ситуации поступить. Чтоб было по справедливости.

Захар Егорович опустил на своё место, по-

косился на Аню. Она сидела пунцовая, по-прежнему не отрывая глаз от тетради.

— Захар Егорыч, — подала голос расположившаяся по левую сторону стола, как раз напротив Ани, бригадир животноводов и тоже член правления Валентина Мотяшова. Женщина средних лет с одутловатым лицом и не то простуженным, не то прокурненным голосом, выделялась она среди местных баб тем, что в любое время года ходила в армейских галифе и сапогах. Достались они ей от покойного мужа, скончавшегося от фронтовых ран в областном госпитале, и носила она их, полагали в деревне, как бы в память о нём. — А ведь Анька родственница твоя. Не жалко?

— Жалко, очень даже. Только родственность — не аргумент, когда мы хотим по справедливости...

— Ой-ёй, справедливец хренов! — взвизгнула Катерина Шумилова и стала пробираться от дверного косяка, который она подпирала, к председательскому столу. Лицо её гневно перекосилось. — А ты подумал, что если Аньку заберут, у меня ещё трое на руках останутся. Как я с ними? Я ведь цельными днями на работе как белка в колесе кручусь. Так хоть Анька помогала, а без неё как я буду?

— Да так же, как и все, — ответила за председателя Мотяшова. — Все бабы робют с темна до темна, и дети у всех, и без мужиков большинство живут. Тебя-то, Катька, горе ещё стороной обошло. И ведь никто не верещит, а похлеще тебя крутятся.

— Я многодетная вдова, — опять завела своё Шумилова. — У меня дети малые...

И бабы всколыхнулись, загомонили на перебой:

— Какая ты вдова? Ты — брошенка!

— Твоим малым детям — десять, одиннадцать да двенадцать годов. Им пора в колхозе старшим помогать, а не лодыря гонять.

— Да она и сама на колхозной работе не горит.

— И даже не шает...

Недолюбливали, если не хуже того, в деревне Катерину Шумилову. Языкастая, злословная и вздорная была бабёнка. Во всём и всем поперечная сама, поперёк себя слова не допускала — отбрехивалась со злостью цепной

собаки. Потому, наверное, и мужики рядом с ней не держались. Четверо их у неё было. От каждого по ребёнку осталось — на память. Сами же — растворились, исчезли бесследно. А ведь и мужики-то, помнят сельчане, были нормальные: работающие, незапивающиеся. Ну так при такой стервозности кто же выдержит? С Шумиловой и работать-то рядом мало кому хотелось. Чуть что — крик, скандал. Только Мотяшовой и удавалось её обратно «в оглобли» ставить. Работала так себе, а отношения требовала, ровно ударницей была. А как же — ведь не кто-нибудь она, а родная сестра председателя. Хотя и Плетнёву от неё тоже не раз «по-родственному» доставалось.

Шумилова примолкла.

В конторе тоже на несколько мгновений воцарилась тишина. Потом поднялась Мотяшова.

— Так вот, ежели по справедливости, то я председателя поддерживаю. Жуковых трогать нельзя — там и так всё горем залито. Ну а Аня... девка она боевая, грамотная. Надеюсь, и на фронте наш колхоз не посрамит. Я так думаю.

Мотяшова села.

— Какие ещё будут мнения?

Зашелестели по зале вполухлёпот разговоры. Но ненадолго. Снова послышался голос Тимофея Бастрыкина:

— Дак как ишшо мнения, коли решать по справедливости. Неча попусту хвосты накручивать, давай голосовать.

— Ну, тогда, — едва скрывая радость от того, что подходит конец этому тяжёлому болезненному разговору, — голосуем, — сказал Плетнёв. — Кто за то, чтобы рекомендовать для прохождения военной службы в рядах Красной армии Марию Жукову?

Напряжённая тишина в ответ. Пёрышко Ани Шумиловой вопросительно зависло над тетрадь.

— Никого, — тихо констатировал Плетнёв и, повысив голос: — Кто против?

Лес рук.

— Воздержавшиеся?

Нашлись и такие — двое.

— Ну вот, теперь, кажется, всё ясно, — сказала Мотяшова.

— Нет, Валентина Семёновна, давайте уж до-

ведём процедуру до конца, — возразил Захар Егорович и повернулся к собранию:

— А теперь, товарищи, кто за то, чтобы рекомендовать для прохождения военной службы в рядах Красной армии Анну Шумилову?

И снова лес рук.

— Кто против?

— Я против, я-я-я! — пронзительно закричала Шумилова-старшая.

Аня Шумилова, словно подхлестнутая пастушьим бичом, вдруг швырнула на стол ручку, сорвалась со своего места и, закрыв лицо руками, ринулась к двери. Никто не удерживал её. Народ молча освобождал ей путь к выходу. А Плетнёв ещё раз пожалел, что допустил Анино присутствие на собрании.

— Не пушу, не отдам свою кровиночку на растерзание! — исходила криком Катерина. — Хотя что со мной делайте, не отдам!..

— Куда ты денешься? — сказал кто-то и словно керосина в огонь плеснул. Катерина заблуждала с новой силой.

— Куда денуся? Денуся! И — вот вам всем! — выкинула она сначала в сторону председателяского стола, а потом, развернувшись, и остального собрания руку с кукишем. — Хрен вам на рыло, а не доченьку мою ненаглядную! Я её так сховаю, что и не найдёте никогда...

— А вот за это, — сурово перебил Шумилову молчавший до сих пор Пётр Васильевич Шерстобитов, уполномоченный их, Мокрушинского, сельсовета, куда, кроме «Приобского коммунара», входило ещё пять колхозов, — по законам военного времени вы обе можете и срок схлопотать. Анна — за дезертирство, а ты, Катерина, — за пособничество дезертиру. Так что попридержи-ка лучше язык от греха подальше...

Слова Шерстобитова действовали отрезвляюще, возвращая Шумилову к реальности. Всклипнув последний раз, она замолкла. И сразу как-то сгорбилась, скукожилась, словно сдувшийся шарик.

Повернулась и пошла следом за дочерью, бормоча себе под нос: «Ну, ладно, отольются ещё вам наши слёзки... ещё попомните... чтоб вы сдохли все...»

Незаконченный протокол собрания Плетнёв потом доводил до ума уже сам, чертыхаясь

и с ужасом думая, что отныне вся эта бумажная канитель, от которой его благополучно избавляла Аня, будет на нём самом.

Доставить Аню на сборный пункт взялся Шерстобитов.

— Заодно и дела там кое-какие решу, — сказал.

Отъезжали через два дня после того памятного собрания. Разгоралось, шурша сухим золотом берёз, медью осин и клёнов бабье лето. В прозрачном воздухе было разлито такое умиротворение, что и не верилось, будто где-то гремит война.

Плетнёв сначала хотел зайти к Шумиловым, как-то ободрить племянницу, сказать напутственные слова на прощанье, но раздумал, предчувствуя, что ждёт его там отнюдь не радужный приём. «Попрощаюсь, когда отъезжать станут», — решил он.

Зато когда заглянул на ферму, его чуть не сбила с ног Маня-большая.

— Захар Егорыч... дядя Захар... Отправьте лучше меня!

— Куда отправить? — не сразу понял Плетнёв.

— На фронт! Вместо Аньки. Она же слабенькая, ей тяжело будет... А я выдюжу. И мстить буду — за тятеньку и братиков.

— Ох, мстительница, — горько усмехнулся Плетнёв. — А вдруг убьют?!

— Дак, знать, судьба такая, дядя Захар. Вслед за татей с братиками и я уйду.

— Но-но, дурёха, осадика давай! — рассердился Плетнёв. — Уйдёт она!.. А о матери ты подумала? Она только тобой и жива и держится, ты у неё теперь единственный свет в окошке. Не станет тебя рядом — и она тут же тихо, без единого выстрела мир наш покинет. И вот ещё о чём, Маня, подумай: ведь за тобой, глянь, в семье-то вашей уже никого не остаётся. Кто будет род Жуковых продолжать? То-то же! А насчёт Анны... Не я одиночно решение принимал — собрание колхозное. А его решение — закон!

Маня притихла, вытирая рукавом крупные, как горошины, слёзы. А Плетнёв утешающе потрепал её по плечу:

— Иди, Маня, работай. Нам с тобой и здесь дел невпроворот. Тоже ведь для фронта трудимся, для победы. Не забывай.

«Вот так-то... — думал Плетнёв, покидая ферму. — Две подружки. Одна, тихоня малозаметная, готова подругу в трудную минуту заменить и собой ради неё пожертвовать, а другая, всегдашняя её верховодка, к такому, выходит, неспособна».

Неяркое сентябрьское солнце ещё только выползло из-за горизонта, а Шерстобитов уже подкатывал на подводе к шумиловскому двору. Путь предстоял неблизкий, и конюх не поспешил на свежее сено.

Увидев в окно Шерстобитова, Плетнёв торпливо нахлобучил кепку и выскочил из дома. Он едва успел поприветствовать Петра Васильевича, перекинуться с ним парой слов, как появились сестра с племянницей. На Ане был старенький, заметно потертый, чуть ли не бабушкин ещё, плюшевый жакет, голова повязана под стать ему тёмным поношенным платком. За спиной оттягивал плечи сидорок с личными пожитками, видать, и харчами на первое время. В этом своём унылом одеянии с сиротской котомкой смахивала Аня на старушку-кусочницу, бредущую от деревни к деревне в поисках подаяния.

Шумиловы подошли к подводе, поздоровались с Шерстобитовым. На Плетнёва обе даже не взглянули. Аня, всё так же не поднимая глаз на председателя, высвободила плечи из лямок вещмешка, положила его в подводу.

Захар Егорович тронул племянницу за плечо. Она дёрнулась, как от электрического разряда.

— Счастливого пути, Анечка. И не поминай лихом.

— А как же мне теперь тебя, дядя Егор, поминать, если ты лихо для меня сам и сотворил?

— Анька! — прикрикнула на неё Катерина. — Хватит лясы точить! Садись уже... — И добавила едко: — А то на службу опоздаешь.

Аня легко вскочила на телегу, стала устраиваться на сене поудобнее.

Шерстобитов при последних словах Катерины укоризненно покачал головой. Прощаясь, подал председателю руку. Тронув поводья, некоторое время шагал рядом с конём, потом запрыгнул с другого боку на подводу и дёрнул вожжи сильнее, прибавляя ходу. Катерина ехала вместе с ними. До околицы будет прово-

жать, понял Плетнёв. Он и сам сначала хотел проститься там, но...

Какое-то время Плетнёв шёл следом за подвой, глядя в согбенную спину племянницы. А метров через сто она вдруг обернулась, бросая прощальный взгляд на родную деревню. Лицо её различалось уже смутно, но всё равно было ясно, что она плачет.

Показалась она сейчас Захару Егоровичу такой жалкой и беспомощной, такой брошенной и покинутой, что и у него самого навернулись на глаза слёзы, а в горле застрял, спирая дыхание, тугой колющий ком. И острой бритвой полоснуло чувство вины.

Шерстобитов хлестнул коня кнутом. Подвода стала быстро удаляться. Плетнёв вернулся к калитке своего дома и, приводя себя в чувство, смолил одну самокрутку за другой. Он стоял, подпирая калитку, до тех пор, пока не показалась на дороге возвращающаяся назад сестра.

— Катюха! — бросился он к ней навстречу.

Что он хотел ей сейчас сказать, что объяснить? В чём оправдаться? Да поздно, когда уже всё решилось и свершилось, и не вернуть, не переиграть теперь! После драки кулаками не машут.

Сестра поравнялась с ним и в какой-то неистово-жгучей ненависти прошипела ему в лицо:

— Будь ты проклят со всем твоим отродьем, будь проклят!..

Плетнёв был не робким мужиком, но сейчас ему сделалось по-настоящему страшно.

И покатила жизнь в Приобском вместе с продолжающейся войной дальше. Захар Егорович по-прежнему исполнял председательские обязанности. Но в нескончаемой суете повседневных колхозных забот не отпускало его чувство вины перед племянницей. Много-много раз Плетнёв возвращался памятью к той ситуации. И всегда выходило, что если по совести и справедливости, то поступил он правильно, и люди его поддержали. Однако ощущение вины горьким осиновым привкусом всё равно оставалось в нём.

Да и Катерина не «позволяла» от него отрешиться. С отъездом дочери она обозлилась, замкнулась, общения избегала, а Захара Егоровича и вовсе обходила десятой дорогой. Он, правда, пытался на первых порах наладить от-

ношения, но получил жестокий отпор. «Ты мне больше не брат!» — с ненавистью сказала Катерина и как топором по их родственной связке рубанула.

Мать сокрушалась и плакала, но сделать ничего не могла: Катерина на попятную не шла.

От Ани приходили письма. Судя по ним, в армейскую походную боевую жизнь она вполне вписалась и служилось ей неплохо. И чем дальше война откатывалась на запад, — тем лучше. Катерина немного отмякла, повеселела, а когда дочь иной раз сообщала, что её военная доблесть удостоена очередной награды, бегала с солдатским треугольником по всей деревне и хвасталась, что вот какая у нее Анька — бой-девка, герой, даёт жару фашистским асам! Она ещё себя покажет, ещё и правда золотая звезда Героя ей на грудь упадёт.

Героя не героя, но звёзды на груди Анны Шумиловой односельчане, когда она в конце августа 45-го вернулась после демобилизации домой, действительно увидели: одну на сияющем рубиновым огнём ордене Красной Звезды, другую — в ореоле золотых ордена Отечественной войны. А на правой стороне Аниной груди поблёскивали ещё и медали, одна из которых — «За взятие Будапешта» — была этакой символической точкой на славном боевом пути Шумиловой.

Ладной её фигуре военная форма явно шла. И перетянутая широким офицерским ремнём суконная гимнастёрка, и с особым шиком сидящая на коротко стриженной голове пилотка, и начищенные до зеркального блеска хромовые сапожки — всё было ей к лицу.

В самой же Анне сейчас с трудом угадывалась Анька Шумилова двухлетней давности — ещё не оформившаяся окончательно деревенская девушка с косичками. Теперь это была заматеревшая и совсем уж не деревенского вида бравая женщина. Она курила «Казбек» — доставала папиросу из картонной коробочки с чёрным всадником, мчащимся на фоне такой же чёрной горы, постукивала по коробочке папиросой и, форсисто заломив мундштук, прикусывала его ярко окрашенными губами; потом, слегка прикрывая глаза, затягивалась и выпускала вверх красивые синеватые кольца, источающие сладковатый нездешний дух.

Немногие вернувшиеся с фронта приобские мужики, если оказывались рядом, стыдливо прятали в рукав свои сигарки.

А ещё деревенские бабы отметили, что вернулась Анна с «довеском». За это говорил чуть-чуть пока округлившийся животик. Не сразу, но всё же удалось особо любопытным выведать потом, кто ж это так постарался и где он теперь.

— Был один... — хмуро призналась Анна. — Жила я с ним. Навроде как ППЖ<sup>2</sup>. Всё надеялась, что вот мир настанет и мы распишемся. Он тоже мне это обещал. А война закончилась — оказалось, что давно расписанный он. Сразу же к своей законной и рванул. Только его и видели...

Домой Анна прибыла не с пустыми руками. Кучу подарков из заграничных краёв навезла. И матери, и сестрам, и бабушке... Только дядю своего Захара обошла стороной.

Она и поздоровалась-то с ним при встрече как с совершенно чужим человеком. И радость, с которой Плетнёв ожидал племянницу, сдуло, словно ветром пену.

Впрочем, худшее ждало его впереди.

\* \* \*

На званный ужин по поводу возвращения Анны Захара Егоровича не пригласили. Сестра встретила его на улице и сказала, что они с дочерью его видеть не хотят.

— Катерина, ты что? — опешил Плетнёв. — Это ж тебе не просто так гулянка воскресная — мероприятие! Встреча и чествование фронтовика. Вся деревня, поди, будет. И вдруг нет председателя! Что люди-то подумают?

— А мне плевать — что подумают! Но на пороге моей избы чтоб ноги твоей не было! — жестко и непреклонно сказала Катерина, даже не повышая голоса.

— Я же слово должен приветственное сказать героине нашей... — попытался хоть как-то объяснить необходимость своего присутствия Плетнёв, но Катерина оборвала его:

— Ты его ещё два года назад сказал, когда мою девочку на смерть посылал.

— Какая ж смерть! Живёхонька-здоровёхонька. В орденах и медалях вся...

Не отвечая, лишь смерив напоследок ледяным ненавидящим взглядом, Катерина круто развернулась и зашагала к своему подворью.

Плетнёв смотрел ей вслед, и было ему стыло и тягостно. И не хватало дыхания. Будто под дых со всей мочи двинули.

Про «всю деревню» Захар Егорович ошибся. Застолье было не очень людное и достаточно скромное. Далеко не все удостоились на него попасть. Катерина гостей отбирала сама.

Мани-большой среди них не значилось. Но она, не ведая о том, пришла сама. Как бы по праву закадычной с детства подружки.

В отличие от Анны, изменилась Маня мало. Разве что исчезла детская припухлость губ да поглубели, заострились черты лица. Даже толстая в руку коса, спускающаяся до середины спины, осталась прежней. Да и жизнь Мани за эти два года практически не изменилась. Всё та же день-деньской потогонная работа — то на ферме, то в лесу, на заготовке чурочек для газогенераторных грузовиков. Дома — больная мать... Была... В мае, сразу после Дня Победы, Маня её схоронила. И осталась совсем одна в пустой, но когда-то заполненной до предела голосами родных людей, смехом, полнокровной здоровой жизнью избе. Днём боль тоски и одиночества скрадывала работа, а по ночам никак не могла уснуть. Даже усталости, свинцом наливавшей всё тело, не удавалось свалить её в сон. Маня лежала в постели, и со всех сторон слышала голоса то матери с отцом, то братьев. Ей начинало казаться, что они собрались все у её изголовья и что-то рассказывают ей. Она пыталась разобрать — что, но слова шелестели, как сухие листья. Под этот шелест она забывалась до утра...

Узнав о возвращении подружки, Маня очень обрадовалась. Мнилось, что Аня, её любимая Анечка, избавит от страха одиночества, что будет теперь кому душу излить. Но когда увидела Шумилу в сиянии орденов и медалей, выходящую из легкового газончика, в каких тогда ездили только некоторые районные начальники (какой-то из них геройскую фронтовичку и в Приобское доставил), Маня сильно оробела и подойти не посмела. Теперь вот решила...

<sup>2</sup> \* ППЖ — походно-полевая жена.

С гулко стучащим сердцем Маня переступила порог шумиловского дома. Застолье уже началось. Народ принял по первой, бодро налегая на закуску. Увидев Маню-большую, притихли, с интересом ожидая, что будет дальше. Анна, как и полагается виновнице торжества, восседала во главе стола под потемневшей иконой над головой и — ниже неё — семейными фотографиями в рамке, рядом с матерью по правую руку и бабушкой — по левую. Увидев Маню, нехотя поднялась, пошла навстречу.

У Мани в радостном предвкушении их горячих объятий уже наворачивались радостные слёзы. Но когда подруги сблизились на расстояние шага, Маня словно в невидимую стену уткнулась. Она увидела протянутую ей ладонь подруги с наманикюренными пальчиками. Маня осторожно взяла её в свою разбитую работой руку. И от этой ухоженной ладони, и вообще от всей Ани Шумиловой исходил нездешний аромат трофейного парфюма.

— Здравствуй, Анечка, — просевшим от волнения голосом чуть ли не басом сказала Маня.

— Привет-привет... — без всяких эмоций ответствовала Шумилова, блистая во всей своей армейской красе.

Маня невольно залюбовалась ею.

— Вон ты какая стала!.. — восхищённо сказала она. И, не зная, как ещё выразить свой восторг, добавила: — Ровно ёлка на Новый год!

Аня поморщилась. Немудрящее Манино сравнение ей пришлось не по душе, даже обидным показалось, и она язвительно заметила:

— Зато ты как была тухлой серой, так тухлой серой и осталась...

И, выдернув ладонь из Маниной руки, круто развернулась и отправилась на своё место.

А Маня осталась истуканом стоять на месте, оглушённая таким приёмом.

Недолгое молчание за столом нарушилось, гости загомонили. Районный начальник, доставивший Шумилову в Приобское, оказавшийся при ближайшем рассмотрении далеко ещё не пожилым человеком, предложил тост за великую Победу и таких замечательных женщин, как Анна Николаевна

Шумилова, без которых эту Победу невозможно представить. Тост бурно поддержали, выпили стоя.

Маню-большую за стол никто не приглашал. На неё вовсе не обращали внимания, словно её здесь и не было. До Мани наконец начало доходить, что она на этом празднике лишняя, и, заливаясь краской стыда, стала бочком подвигаться к выходу...

На другой день Плетнёв с племянницей всё-таки встретился. В колхозной конторе. Люди только что разошлись после наряда по рабочим местам. Плетнёв один корпел над бумагами — сводками, справками, отчётностью, к составлению которых за свою председательскую службу так и не смог привыкнуть. «Хорошо бы Анну опять привлечь», — подумал он и почувствовал, как заныло от нанесённой вчера Катериной обиды сердце.

— Здравствуйте, Захар Егорович! — услышал Плетнёв. Подняв голову, увидел на пороге Аню.

От неожиданности он привстал из-за стола, приглашающим жестом показал на одну из табуреток перед ним.

Шумилова прошла, звякнув наградами, села, небрежно закинув ногу на ногу. Достала «Казбек», не спрашивая разрешения, закурила. Она и раньше-то сильно застенчивой не была, а тут и вовсе чувствовалась во всех её движениях, позе, взгляде несомненная уверенность в себе, в своей неотразимости и превосходстве.

Плетнёв захотел было порасспросить её о боевой жизни, за что награды получены — ведь за просто так их не дают. Но исходящие от Анны токи самоуверенности и самодовольного превосходства остановили его. Да и как-то неуютно чувствовал себя Захар Егорович под сиянием её «иконостаса», поскольку сам-то, кроме увечья, ничего не заработал. И он промолчал. Молчал, пока племянница доставала коробку с папиросами, закуривала... Наконец спросил:

— Чем заниматься-то думаешь? В помощницы ко мне пойдёшь? По старой памяти.

Аня отвела от лица руку с зажатой между пальцами дымящейся папиросой, презрительно усмехнулась:

— И чего ж я тут забыла, Захар Егорович? — А после секундной паузы с нотками всё того же превосходства в голосе и затаённой гордости сказала: — Я теперь птица другого полета!..

— Ну-ну... — отозвался Плетнёв, чувствуя, как ещё сильнее заныло сердце. — И куда ж ты теперь лететь собираешься?

— Пока что в район. Там мне уже местечко присмотрели. Нам, фронтовикам, теперь везде дорога! Сначала в район, а дальше посмотрим. Глядишь, и город наш будет...

«Ишь ты, «завоевательница»! — с обидой и неприязнью подумал Плетнёв. — Будто в родной деревне делать нечего».

— Я вот и в контору зашла, чтобы кое-какие формальности уладить.

— А мать с бабушкой?

— А что мать с бабушкой? Как жили, так и жить будут, — пожала плечами Аня. — Устроюсь — помогать стану.

— И то ладно, — проворчал Плетнёв.

«Формальности» они уладили. Захар Егорович ныне, если бы даже и сильно захотел, не смог бы удержать Анну Шумилову, фронтовика и орденоносца, в колхозе. Она теперь и вправду была «птицей другого полёта». Впрочем, у Плетнёва и желания никакого не возникло её удерживать. «Пусть катится!» — с какой-то непривычной для себя злостью сказал он сам себе, когда племянница скрылась в дверях.

Увозил Анну Шумилову из села на следующий день всё тот же районный начальник, что доставил её сюда. День был воскресный, сухой и тёплый. «Газик» окружили немногочисленные зеваки. Плетнёв был дома. Проводить племянницу он не вышел.

\* \* \*

Анку-зенитчицу — так её с тех пор за глаза называли односельчане — в деревне больше не видели. По слухам, сошлась и жила она какое-то время с тем районным начальником, но что-то у них не заладилось, и они разбежались. Может, не захотел начальник чужого ребёнка воспитывать, который к тому времени у Анны родился.

А позже и Катерина с оставшимися дочеря-

ми и матерью к ней в райцентр перебралась. Кто-то же должен был нянчиться с малышом. Анне Николаевне на это времени совершенно не находилось. Вся она была в делах — служебных, партийных (на фронте Шумилова стала коммунисткой) и общественных. Она не вылезала с парт- и прочих собраний, конференций, активов, слётов, заворачивала районным советом ветеранов войны, её избрали депутатом райсовета трудящихся, членом райкома... Её дома и застать-то было нелегко. Так что бабушка и прабабушка были здесь очень кстати. Благо жилплощадь позволяла. В райцентре, впервые с довоенных времён, построили несколько жилых домов. Половину одного из них с приусадебным участком и надворными постройками получила Анна Шумилова.

\* \* \*

Маня-большая продолжала жить своей шумной, малозаметной трудовой жизнью. Впрочем, почти одновременно с переездом Катерины Шумиловой в Сосновку произошло в её жизни важное событие. Она вышла замуж. Случилось это быстро и буднично. И для многих в деревне неожиданно. Особенно если учесть, что недобор мужиков в Приобском, как, впрочем, и во всех окрестных деревнях, был страшный, а стало быть, и выбор невест — огромный.

Однажды появился в «Приобском коммунаре» новый плотник по имени Василий Трошин. Был он нездешний. Из Смоленщины. Когда призвали в армию, оказался с отступавшими частями под Москвой. Там и ранили в первый раз. После госпиталей, ближе к весне сорок второго года снова очутился на фронте. Но уже не пехотинцем, как до этого, а понтоном. И до февраля сорок пятого наводил переправы на пути наступления наших войск через большие и малые реки, пока на Одере не получил ещё одно тяжёлое ранение.

Поправившись, отправился в родные места. Вместо села своего увидел пепелище с голыми печными трубами. Удалось Трошину разузнать, что сгорела не только сама деревня. За связь с партизанами сожгли эсэсовские каратели и всех оставшихся в ней жителей, согнав

в колхозный амбар. Сгорели в том амбаре и родные Василия. И остался он один-одинёшенек: ни кола, ни двора, ни близких ему людей... Куда теперь ему, прошедшему, почитай, всю войну солдату, податься?

Вспомнил Семёна Брызгалова — соседа по больничной палате, с которым лежал в новосибирском госпитале. Месяца три они с ним там кантовались — койки рядом стояли, одну тумбочку на двоих делили. Каждый свою деревню вспоминал, друг другу рассказывали, какая она. Семёну часто приходили письма. И он время от времени читал их Василию вслух, мечтательно, в предвкушении будущей встречи закатывая глаза. Трошину писем уже давно никто не слал, и оттого на душе делалось всё тревожнее. Брызгалова выписали раньше. На прощание, сунув Василию свой адресок, он сказал: «Приезжай, погостишь, и вообще... приезжай, если что! У нас места всем хватит — не пропадёшь!» Как чуял Брызгалов, говоря «если что»...

Недолго размышлял Трошин. Отправился назад, в Сибирь, по указанному Брызгаловым адресу. В Приобском его встретили лучше некуда. Фронтовики, да ещё владеющие ходовым ремеслом, были в большой цене. Василий оказался отменным плотником да и помимо того мастером на все руки и быстро стал работником поистине незаменимым.

С Маней Василий познакомился, когда пришёл ремонтировать и приводить в порядок деревянные «внутренности» фермы.

— Вот это дивчина! — восхищённо воскликнул он, впервые увидев Маню.

Девушка покраснелась. Complimentов она сроду ни от кого не слышала. За работу — другое дело — хвалили. Да и какие комплименты, если смотрели парни на неё как на «тюху серую» да «каланчу», и видов на неё не имели, даже несерьёзных.

— Тебя как звать-то? — спросил Трошин.

— Маня, — и вовсе зардевшись цветом маковым, чуть слышно ответила она.

— Так это тебя Маней-большой в деревне кличут?

Она молча кивнула и опустила голову.

— А я Василий. Василий Трошин. Вася. Правда, не «большой»...

Он и в самом деле «большим» не смотрелся, особенно рядом с Маней. Чуть выше её плеча ростом, коренастый, крепко сбитый, однако сила чувствовалась в нём немалая. Был он лет на пять старше Мани, но лоб его пробороздили две глубокие морщины, а шевелюра подёрнулась инеем ранней седины.

Маня подняла глаза, взгляды их одинаково голубых глаз встретились, вызвав замыкание душ и сердец. И глубоко нутром оба почуяли, что дальше идти им вместе.

Всю неделю, пока тюкал Трошин на ферме топориком, они говорили друг с другом и не могли наговориться. Рассказывали о себе, о том, что было с ними в прошлой жизни, и всё острее чувствовали, как близки они своими судьбами.

А потом Василий проводил Маню с фермы домой. И остался у неё...

Свадьбы не справляли. Просто начали жить вместе. Сначала и отношения свои не оформляли. Уж когда первенец-сын родился — расписались в сельсовете.

Деревенские, глядя на них, поначалу удивлялись: чудно — чуть ли не на голову баба мужика выше! Потом привыкли, рассудив — не с ростом же жить, с человеком... А человеком Василий был, под стать Мане, работающим и душевным. И, как сказал о нём однажды Плетнёв, — мужиком качественным. Сам же Захар Егорович, глядя на эту молодую семью, невольно вспоминал Пахома и Авдотью Жуковых. И их сыновей.

Маня же родила одного за другим трёх собственных. Словно их рождением постаралась восполнить преждевременный уход из жизни братьев. Сыновья её чем-то и похожи были на них.

Захар Егорович всем троим стал крёстным отцом и, наблюдая, как бурно, несмотря на несытую послевоенную жизнь, идут они в рост, с радостью и облегчением думал, что правильно он тогда всё-таки сделал, что не отдал Маню на войну.

Но недолго довелось Плетнёву радоваться. Фронтовые раны и контузия, постоянное перенапряжение, что испытывал он, волоча по колдобинам и хлябям военно-послевоенного лихолетья колхозный воз, всё сильнее давали о

себе знать, подтачивали здоровье. Не укрепляла его и размолвка с сестрой и племянницей. После переезда Катерины в Сосновку встретились они с ней всего раз, года через три, на похоронах матери. Смерть матери помирила их, но родственную лодку было уже не склеить. Да и времени не оставалось. Через полтора года вослед матушке своей уйдёт в мир иной и Захар Егорович, отдав родной земле всего себя без остатка...

\* \* \*

Аня Шумилова, а для большинства окружающих давно уже только Анна Николаевна, между тем продолжала набирать высоту. В райцентре надолго она не задержалась. Инициативную, энергичную и честолюбивую функционерку заметили в областном центре, пригласили инструктором в сельхозотдел обкома партии. Но велели продолжать образование. И Шумилова отправилась без отрыва от «производства» учиться в партшколу. А когда через несколько лет с отличием окончила её, пошла на повышение — возглавила организационный отдел одного из райкомов партии областного города. Некоторое время спустя заняла вакантное место (была избрана) третьего секретаря другого городского райкома. «Доросла» там и до второго. А заканчивала Анна Николаевна Шумилова свою партийную карьеру опять в Сосновке, чуть ли не десяток лет возглавляя здешний райком.

На личном фронте дела у Шумиловой обстояли далеко не так успешно. Родившаяся у неё сразу после войны девочка прожила всего ничего. И двух лет не было крошке, как задушила её дифтерия. На войне Анна Николаевна насмотрелась смертей. Но это были чужие смерти. А здесь умер её ребёнок — плоть от плоти, кровиночка... Ладно, успокаивала её Катерина: молодая, здоровая, родишь себе еще. Она и сама на то надеялась. Оказалось — напрасно. Не однажды пыталась Анна Николаевна устроить личную жизнь, сходилась и расходилась с мужчинами. Никто, однако, рядом с ней, властолюбивой верховодкой, которой и в семейной жизни надо было непременно доминировать и подчинять себе, долго не удерживался.

Впрочем, из-за этого Анна Николаевна особо и не переживала. Другое её удручало — родить не получалось никак. Хоть от того красавца, хоть от этого. А мужчины ей доставались — заглядение! Уже и сёстры её младшие замуж повыходили и своих детей на свет произвели, а она так и оставалась «коровой яловой». Словно порчей какой была тронута, венцом бесплодия околдована. И что только не делала она для исправления положения! Не помогали ни врачи, ни знахарки. Катерина, пока жива была, настойчиво в церковь советовала пойти, через батюшку-настоятеля (он нужные молитвы подскажет) у Бога помощи попросить. Но этот вариант Анна Николаевна как партийный работник принять не могла. Хотя в душе была согласна даже на такие «крайности».

А потом не стало и Катерины. Сёстры за мужьями разъехались по стране кто куда (да и не испытывала она к ним по-настоящему родственных чувств никогда). И Анна Николаевна осталась совсем одна. Только работа и спасала. В квартиру к себе приходила лишь переночевать.

\* \* \*

Семья Трошиных продолжала жить в Приобском до последних его дней. Маня всё так же трудилась на ферме, Василия с его плотницкой бригадой можно было видеть на разных объектах разрастающегося колхозного хозяйства, а то и за постройкой новых изб. Семейство их прибавилось ещё на одного сына и дочь. Старшие один за другим окончили семилетку в родном селе, пошли дальше кто в училище механизации, кто в техникум. Младшие ещё учились в школе. И была уверенность, что все они продолжат крестьянское дело родителей на Приобской земле.

Так бы, наверное, и было, но через три десятка лет после победы над фашизмом развернулась новая война — с русским крестьянством, которое начали повсеместно сгонять с насиженных мест, стирать с лица земли его родные деревни, ставшие вдруг «неперспективными», а самого загонять в «посёлки городского типа». В них, построенных наспех и

кое-как, кроме шести приусадебных соток под окном, где ни скотину держать, ни картошки посадить на обычно большую деревенскую семью, не имелось больше для подневольных переселенцев ничего.

В одну из таких переселенческих «резерваций» попала и семья Трошиных, когда вал ликвидации «неперспективных» деревень докатился до Приобского. Красавца села с вековой историей не стало. Маня-большая уезжала в слезах. Наворачивались они и на глаза Василию, давно прикипевшему к этим местам с прекрасной рыбалкой, охотой, грибами в окрестных борах и березняках. Новый же посёлок «посадили» практически на голое место в окружении редких жиденьких колков и заболоченных согр. Не было рядом ни речки, ни приличных угодий. Для питьевой воды бурили артезианские скважины, но выкачивалась оттуда какая-то сомнительная рыже-тараканьего цвета и сильно железистая жидкость. Она оставляла на посуде ржавые потёки, пить её просто так, для утоления жажды, было почти невозможно. И Трошины, каждый раз качая её в ведро, невольно вспоминали свой колодец-журавель в Приобском с его вкуснейшей водой.

Покидая Приобское, Трошиным со многим пришлось расстаться, пустить под нож скотину (только поросёнка да нескольких курей забрали) и начинать жизнь на новом месте практически с нуля.

Кто позажиточнее или имея там родственников, переезжали в пригородные посёлки областного центра. У Трошиных такой возможности не было. Хорошо хоть удалось им свою избу, всего лет за пять до этого Василием отстроенную, в Залесово из Приобского перевезти. С работой тоже начались проблемы. Рабочих рук было больше, чем рабочих мест. Да и те, что имелись, ветеранам вроде Мани-большой были заказаны. Не вписывались такие, как она, в механизированные комплексы и залы машинного доения современных ферм, отданные «на откуп» молодым специалистам: зоотехникам, операторам машинного доения... С большим трудом Мария Пахомовна устроилась в поселковую школу уборщицей. И это было счастьем, потому что

младшие сын с дочкой учились здесь же и теперь были у неё на глазах. Двое старших после окончания училища в чужое для них поселение возвращаться не захотели и поехали пытаться счастья в город. Там же доучивался в техникуме третий сын. У него тоже все надежды были связаны с городом.

— Ничего, — успокаивал жену Василий, — пусть свою дорогу ищут. Все одно в городу им лучше будет, чем в нашем болоте.

Иначе как «болотом» он новый посёлок не называл. Приложения к своему плотницкому умению он найти здесь не мог. Мыкался по разным временным работам, пока не приткнулся в местную кочегарку. Всегда весёлый, распахнутый, он захандрил, стал попивать. И однажды лютой январской стужей, возвращаясь домой от собутыльника из одного края широко разбросанного по степи посёлка в другой, замёрз, упав по пути в сугроб и не найдя в себе сил подняться.

Смерть мужа Мария Пахомовна переживала тяжело. Первой и единственной любовью он был, отцом её детей. Больше тридцати лет вместе. И как жить после случившегося дальше — она не представляла.

— Ничего, мать, — прорвёмся! — сказал старший сын, вспомнив любимое присловье отца, когда собрались они после похорон всем семейством.

— Помогать будем, — поддержали братья.

Мария Пахомовна вздохнула в ответ. А что им ещё остается делать? Только прорываться! И не в первый уже в её судьбе раз...

Жизнь снова накалилась до предела, как в дни войны, когда прозывали её ещё Маней-большой. Только враг теперь был другой — непонятный какой-то: не чужеродный и сторонний, а внутри возникший и изнутри действующий, но действующий подчас не лучше фашистского завоевателя. Однако и его надо было побеждать. Ради жизни собственных детей, их лучшей и более счастливой доли. Благо и дети, материнскую заботу чувствуя и понимая, не оставались в стороне: по весне всем табором сажали, а осенью копали картошку (совхоз теперь выделял под неё на полях землю), помогали в огороде, по дому. Двое старших, найдя в городе работу, поддерживали

деньгами. Продолжала работать — всё так же школьной техничкой — и сама Мария Пахомовна. В общем, «прорывались» Трошины во главе с Марией Пахомовной всем семейным кагалом к чистой воде счастливого будущего, не представляя, правда, как далеко и долго до него добираться и через какие тернии придётся дальше продираться. Марии Пахомовне иной раз казалось, что никакой жизни на это не хватит.

А годы текли, словно песок сквозь пальцы. Пришла пора Трошиной пенсию оформлять. Вообще-то эта пора ещё лет семь назад наступила, да только всё как-то не отваживалась Мария Пахомовна бросить работу. Хоть и не шибко она, шваброй орудуя, получала, но всё-таки больше в сравнении с совсем уж никакой колхозной пенсией. Тем более что, если выдавалась возможность, Мария Пахомовна и в других местах прирабатывала. Но дети вырастали, оперялись, обзаводились семьями. Уже и младшего сына она женила. Да и дочь была на выданье. Семейное древо Трошиных обрастало новым «годовым кольцом». От ребячьих голосов звенело в ушах, когда сыновья с внуками на праздники собирались у матери.

Баба Маня была у сыновей нарасхват. То один просит погостить — считай с внуками понынчиться, то другой. С нею в Залесово только младший сын да дочь жить остались. Она бы и рада погостить, но лишний раз вырваться не может — работа. И стали дети уговаривать мать оставить наконец чёртову работу и уйти на пенсию. И так сорок лет отмантулила. Всех их подняла, в люди вывела. Пора и на отдых заслуженный. Немного лукавили, конечно, на себя одеяло тянули — какой там всерьёз отдых при ораве внуков! Не отдых, конечно, понимала и Мария Пахомовна, но если и труд, то самый, наверное, радостный и благодарный, для которого и сил оставшихся не жалко. Да и жить как-то полегче стало. То сама на детей всю дорогу тянулась, а теперь пришла знать пора ответной благодарности. И пенсия ноне куда как больше, чем раньше.

В общем, решила Мария Пахомовна, взялась оформлять пенсию. Справки всякие собирая, зачастила в райцентр. В один из таких походов и состоялась их встреча...

В райисполком Мария Пахомовна неудачно угадала под обед и сейчас вынуждена была на лавочке в тени административного здания целый час дожидаться, когда вернётся к себе в кабинет нужная ей чиновница. Трёхэтажное кирпичное здание с большими окнами, высокими потолками было поделено на две половины. С той стороны, где сидела на лавочке Трошина, находился вход в райисполком, а с противоположной — в райком партии.

Ещё только начинался сентябрь, и было по-летнему тепло. Устроившись удобнее на лавочке, Мария Пахомовна стала задремывать. Но тут же почувствовала, что кто-то сидит рядом и в упор смотрит на неё. Она открыла глаза и услышала:

— Точно, Маня!

На неё смотрела примерно её возраста, но более молодого вида, ухоженная, со вкусом одетая женщина. Что-то знакомое угадывалось в ней, но узнать её сразу Мария Пахомовна не смогла. Лишь когда женщина, слегка толкнув её плечом, сказала: «Ты что, Маня, не признаёшь меня?», в её памяти, как на замёрзшем стекле, тронутого тёплым дыханием, появилась и стала расширяться проталина, из глубины которой проступило лицо Анны Шумиловой.

— Аня? — удивлённо откликнулась Мария Пахомовна.

— Узнала наконец! — обрадовалась Шумилова.

Не сговариваясь, они потянулись друг к другу и обнялись.

— Эвон ты какая стала! — сказала Мария Пахомовна, отстраняясь от подруги.

— Какая?

— Чисто королева! Начальница, поди?

— Начальница, — засмеялась Шумилова. — В соседнем подъезде работаю.

— В райкоме?

— В нём самом. Им и команду.

— Надо же?! — удивилась Трошина.

— Неужели не знала?

— Нет, — призналась Мария Пахомовна.

Она и правда не знала. Ни сами они с Василием, ни сыновья их к коммунистам отношения не имели, районную газету читали редко, а если и читали, то фамилия Шумиловой им там не попадалась.

И пошёл у них разговор — долгий, с рассказами о себе и близких, с омытыми слезами воспоминаниями о далёком детстве и юности... Маня-большая забыла про нужную ей чиновницу, а Анка-зенитчица про свой райкомовский кабинет.

— Я, Маня, иногда думаю, что, если б не настоял тогда дядя Захар, Захар Егорович, на своем и не оказалась бы я на фронте, судьба моя могла б совсем по-другому повернуться. Чухла бы, наверное, как и ты, в колхозе и дальше нашего райцентра ничего не видела. А так... За Родину повоевала, мир посмотрела. Реализоваться смогла сполна, показать, на что способна. У меня, Маня, не только боевые, но и трудовые награды имеются. Орден Трудового Красного Знамени, вот... Так что не зря небо коптила.

— А мы, значит, шушера колхозная, темнота беспартийная, зря всё это время — и в войну, и после — горбатились и надрывались? — вдруг обиделась Мария Пахомовна. — Хотя, может, и зря. Мы — робили как проклятые, жилы рвали, а нас за это прижимали да притесняли как только могли, дыхнуть свободно не давали. Вон даже огороды обрезали по самое не могу...

— Маня, — строго, с металлом в голосе оборвала подругу Анна Николаевна, — не обобщай! Да и не об этом я говорю — о себе, — снова смягчил её голос. — Я ведь сильно обижалась на Захара Егоровича. Как же — не мог родную племянницу выгородить! И на тебя тоже обижалась. Полагала, что тебе место на фронте, а не мне. Сильно я, оказывается, ошибалась. Война разных людей объединяет, к единому, так сказать, знаменателю приводит. А меня война и вовсе человеком сделала, на широкий жизненный простор вывела. Как говорится, нет худа без добра...

— Ага, кому война, а кому — мать родна, — проворчала Мария Пахомовна.

— Вот и получается, — пропустив её реплику мимо ушей, продолжила Шумилова, что я не обижаться должна, а по гроб жизни быть вам с Захаром Егоровичем благодарной.

— Да ладно... — засмушалась Трошина. — А Захара Егоровича жалко очень. Замечательный мужик! Только продыху ему не было. Вот и надорвался. Не старый ещё помер...

Обе разом всхлипнули, помолчали.

— А с другой стороны, — снова торопливо, словно спеша высказать копившееся в ней годами, заговорила Анна Николаевна, — война эта проклятая мне жизнь всё равно покорёжила. Личную мою жизнь. Там, на фронте, когда вокруг в основном мужики, казалось, что любовью может быть у твоих ног — стоит только захотеть. И после войны продолжала так думать. А что, ни внешне, ни умом бог меня не обидел. Но потом поняла, что у ног-то своих ещё и удержать надо. А вот этого не могла, не умела. И если что в моём избраннике меня не устраивало — я по нему, как по самолёту из зенитки, лупила. В самое уязвимое место попадать старалась. И попадала. Я — меткая. Меня другим девушкам дивизиона всегда в пример ставили. А когда попадала — всё, вдребезги моя очередная любовь! И вот тебе, Маня, результат. Мужа как не было, так и нет, детей — тоже. Людей вокруг меня всегда много разных, а голову приклонить некуда, по-настоящему близких-то почти и не осталось. А ты вон сидела в нашем Приобском, никуда не рыпалась, женихов не искала, не выбирала. Василий твой сам тебя нашёл — раз и навсегда! Хотя вроде бы и глазу зацепиться не за что. Красавицей никогда и близко не была...

— Так оно с лица-то воду не пить, — возразила Мария Пахомовна.

Анна Николаевна тоскливо вздохнула, отрешённо глядя перед собой, и сказала:

— Эх, Маня, если б ты знала, как я тебе завидую! И лучше б я всё-таки оставалась тогда дома и жила обычной нашей деревенской жизнью...

Анна Николаевна уронила голову подруге на плечо и зашла навзрыд так безутешно, словно отправляя в последний путь, оплакивала свою странную двуединую жизнь, атласно-белую, во всех отношениях удавшуюся — с фасада и неуютно-промоглую, тоскливо-серую — со двора.

Мария Пахомовна успокаивающе гладила Шумилову, прожигая её плечо собственными слезами, и думала, что им, бабам, — красивым или нет, звёздами осыпанным или с неба их вовсе не хватавшим — счастье даётся одинаково трудно...

\* \* \*

Это была последняя встреча подруг. Больше судьба вместе их не сводила.

Шумилова вскоре ушла на пенсию. И долго ещё занималась разными общественными делами, а когда они вдруг хотя бы на время иссякали, впадала в депрессию, ибо тогда совершенно не знала, куда себя деть в пустоте своей личной жизни. Сёстры её младшие, обзаведясь семьями, поразъезжались из родных краёв по другим городам и весям. Да и не шибко-то Анна Николаевна с ними, взрослыми и самостоятельными, роднилась, большинство племянников и племянниц своих только на фотографиях и видела.

Трошина, выйдя на пенсию, «гастролировала» по семьям своих детей, а потом и выросших внуков, от которых уже и правнуки пошли. Была она там желанным гостем и этаким челноком, связывающим в единое прочное целое нити большого семейного полотна, ткать которое начинали ещё её родители — незабвенные Пахом и Авдотья Жуковы, а продолжила она, Мария Трошина, урождённая Жукова.

Умерли Анка-зенитчица (по паспорту Анна Николаевна Шумилова) и Маня-большая

(Мария Пахомовна Трошина), как и родились, почти одновременно, с разницей всего в неделю — на 88-м году жизни.

Сентябрь в Сосновском районе выдался в тот год замечательный — тёплый и сухой. Уходить из жизни в такую пору — одно удовольствие. Господь, словно в награду за всё хорошее, отправляет в последний путь, благословенно осияв всеми красками хлебосольной осени. И как бы даёт знать возносящимся в горние выси, что такая же благодать бабьего лета ожидает там на веки вечные всех праведно проживших на земле.

К последнему дню своего существования шли Анька-зенитчица и Маня-большая разными дорогами. Лишь однажды на краткий миг пересеклись их пути, чтобы разойтись снова. Но, бог даст, там, за гранью брэнного мира, встретятся они вновь, чтобы воссоединиться душами своими, дабы уже не расставаться больше никогда...

□

### **Алексей Валериевич ГОРШЕНИН**

*родился в 1946 году в Ульяновске.*

*Окончил историко-филологический факультет*

*Томского государственного университета.*

*Работал в научно-исследовательских, проектных и учебных институтах, в различных периодических изданиях Сибири.*

*Автор пятнадцати книг различных жанров.*

*Член Союза писателей России.*

*Лауреат премий губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства и литературной премии*

*им. Н.Г. Гарина-Михайловского.*

*Живёт в Новосибирске.*

